

РУССКОЕ НАРОДНИЧЕСТВО



ародничество» — термин, означающий не какую-то конкретную политическую партию или связанное с ней учение, но широкое радикальное движение в России середины XIX века. Оно зародилось в эпоху великих социальных перемен и брожения умов, последовавшую за смертью царя Николая I и унижительным поражением в Крымской войне 1856—1857 годов, приобретало все большее влияние в течение двух последующих десятилетий и достигло своего пика с убийством царя Александра II, после чего быстро пришло в упадок. Вождями его были люди разного происхождения, взглядов и способностей; ни на каком из этапов оно не выходило за рамки разрозненных групп заговорщиков и их единомышленников, иногда объединявшихся для совместных действий, но обычно работавших самостоятельно. Эти группы отличались друг от друга как целями, так и средствами их достижения. Однако их убеждения имели в основе своей много общего, а моральная и политическая солидарность дает право причислить их к единому движению. Как их предшественники, заговорщики-декабристы 20-х годов и кружки Герцена и Белинского 30—40-х, они считали правительство и социальное устройство своей страны нравственным и политическим уродством — устаревшим, варварским, тупым и одиозным — и посвятили жизнь полному его уничтожению. Их основные идеи были неоригинальны. Они разделяли демократические идеалы современных им европейских радикальных идеологов, а также верили в то, что борьба социально-экономических классов определяет все в политике.

Теорию эту они исповедовали не в форме марксизма (который широко распространился в России не раньше 1870-х), а в той, которой учили Прудон и Герцен, до них же — Сен-Симон, Фурье и другие французские социалисты и радикалы, чьи труды, легально или нелегально, тонкой, но непрерывной струйкой десятилетиями вливались в Россию.

Теория классовой борьбы как доминирующего фактора в социальной истории, стержень которой — эксплуатация «неимущих» «имущими», родилась на Западе в ходе индустриальной революции; и самые характерные ее идеи относятся к капиталистической фазе экономического развития. Экономические классы, капитализм, беспощадная конкуренция, пролетарии и их эксплуататоры, губительность непродуктивной финансовой системы, неизбежность дальнейшей централизации и унификации всей человеческой деятельности, превращение людей в товар, вытекающее отсюда отчуждение между людьми и группами людей и деградация человеческой жизни — все это неразрывно связано с индустриализацией. Россия, даже в конце 1850-х, была одной из наименее индустриализованных стран Европы. Несмотря на это, эксплуатация и нищета уже давно были привычными и общепризнанными чертами ее социальной жизни, в которой основными жертвами оказались крестьяне, свободные и крепостные, вместе составлявшие девять десятых населения. Рабочий пролетариат уже сформировался, но к середине века не превышал двух-трех процентов от общей численности. Поэтому под угнетенными массами подразумевали в основном земледельцев, составлявших низший слой общества, в подавляющем большинстве своем — государственных или помещичьих крестьян. Народники смотрели на них как на мучеников, чьи страдания они призваны отомстить, исправив причиненное им зло; как на воплощение простых, незапятнанных добродетелей. Крестьяне эти (сильно идеализированные) должны составить естественный фундамент для будущего устройства российского общества.

Главными целями народников были социальная справедливость и социальное равенство. Следуя Герцену, революционная пропаганда которого в 1850-х была для них самым влиятельным источником, они в большинстве своем верили, что основа для справедливого общества уже существует в виде русской крестьянской общины — *мира*. *Мир* был автономным сообществом крестьян, время от времени устраивавших переделы пахотной земли; его решения связывали всех членов; и на этом краеугольном камне, по мнению народников, можно было путем выборов возвести здание государства, состоящего из таких самоуправляемых общин. (Идею эту они почерпнули у французского социалиста Прудона.) Вожди народничества полагали, что такая форма общественной жизни создала бы в России свободный и демократичный строй, берущий начало в глубочайших нравственных установках и традиционных ценностях русского — да и любого — общества. Они верили, что работники (то есть все производители) и города и деревни смогут воплотить эту систему в жизнь с гораздо меньшей степенью жестокости и насилия, чем это случилось на индустриализованном Западе. Такая система, выросшая из насущных человеческих потребностей и представлений о правде и добре, заложенных в каждом, обеспечила бы справедливость, всеобщее равенство и широчайший простор для развития человеческих способностей. Поэтому народники полагали, что рост широкомасштабной централизованной промышленности не был «естественным» и неизбежно вел всех, попавших в его когти, к деградации и обесчеловечиванию, ибо капитализм — страшное зло, калечащее тела и души. Но они не считали его неизбежным, так как социальный и экономический прогресс, по их мнению, отнюдь не связан с ростом индустриализации. Народники думали, что приложение научных истин и методов к проблемам общества и конкретных людей (в которое они страстно верили), хоть и может привести к развитию капитализма, все же достижимо без этой, казалось бы, неизбежной жертвы. Они верили в способность науки облегчить человеческую

жизнь, не нарушая при этом «естественную» жизнь крестьянской деревни и не создавая огромного, нищего, безликого городского пролетариата. Капитализм кажется непобедимым лишь потому, что с ним никто не пытается адекватно бороться. И, как бы то ни было на Западе, в России проблема большой территории преодолима, а создание небольших объединений самоуправяемых трудовых общин по Фурье и Прудону — вполне осуществимо, если продуманно подойти к делу. Как и французские первопроходцы, их последователи в России ненавидели институт государства особой ненавистью, ибо для них государство было символом, результатом и источником несправедливости и неравенства, орудием господствующего класса для защиты его привилегий — а сам он, по мере сопротивления его жертв, становился все более жестоким и склонным к слепому разрушению.

Поражение либеральных и радикальных общественных движений на Западе в 1848—1849 годах укрепило народников в убеждении, что выход надо искать не в политике или политических партиях. Им казалось очевидным, что либеральные партии и их вожди не понимают, что нужно угнетенным их стран, и не пытаются по-настоящему стоять за их насущные интересы. Подавляющее большинство российских крестьян (или европейских рабочих) действительно нуждалось в еде и одежде, в физической безопасности, спасении от болезней, невежества, нищеты и унижительного неравенства, а не в политической деятельности, праве голоса, парламентах и республиканском строе, которые для неграмотных, грубых, полутолых и голодных людей представляют собой лишь пустой звук, издевательство над их положением. Народники, имея мало общего со славянофилами, разделяли их отвращение к строго разграничившей классы социальной пирамиде западных стран, услужливо принимаемой или пылко почитаемой конформистской буржуазией и государственной бюрократией, на которую эта буржуазия равнялась.

Сатирик Салтыков-Щедрин в своем знаменитом разговоре русского мальчика с немецким запечатлел этот народни-

ческий взгляд, провозгласив свою веру в русского мальчика, голодного, оборванного, копошащегося в грязи и убожестве проклятого рабовладельческого царского режима, потому что он, в отличие от аккуратного, послушного, приятного, упитанного и хорошо одетого немецкого мальчика, не продал свою душу за несколько монет, которые ему пообещал прусский чиновник, и потому способен когда-нибудь, если только ему позволят, подняться во весь свой человеческий рост, а немецкий мальчик не поднимется никогда. Россия лежала во мраке и в цепях, но ее дух не был покорен; прошлое было темным, но будущее обещало больше, чем прижизненная смерть цивилизованного среднего класса в Германии, во Франции или в Англии, давным-давно продавшегося за материальную обеспеченность и так закосневшего в своем позорном добровольном рабстве, что само желание свободы стало ему чуждым и непонятным.

Но, в отличие от славянофилов, народники не верили в то, что характер и судьбы русского народа уникальны. Они не были националистами-мистиками и думали только, что Россия — отсталая нация, не достигшая уровня социального и экономического развития, к которому, желая того или нет, подошли нации западные, вступив на путь ничем не сдерживаемого капитализма. В массе своей они не были историческими детерминистами; соответственно они верили, что нация, оказавшаяся в столь тяжелом положении, может избежать своей судьбы, упражняя волю и разум. Они не видели, почему бы России не воспользоваться западной наукой и технологией, не платя за это ту отвратительную цену, которую заплатил Запад. Они доказывали, что можно избежать деспотизма централизованной экономики и централизованного управления, если принять свободную федеральную структуру, основанную на самоуправлении и социальном единстве производителей и потребителей. Они придерживались мнения, что управлять нужно, но нельзя упускать из виду прочие ценности, так как управление само по себе — не цель; управлять следует, прежде всего исходя из нравственных и гуманисти-

ческих соображений, а не только, как в муравейнике, из экономических и технологических. Они говорили, что защитить людей от эксплуатации, превратив их в индустриальную армию организованных роботов, — самоуничтожение и самоубийство. Идеи народников часто были нечеткими, между ними существовали острые различия, но сходного достаточно, чтобы говорить о подлинном движении. Так, например, они принимали в общих чертах просветительские и моральные уроки Руссо, но не его поклонение государству. Некоторые из народников (возможно, большинство) разделяли его веру в добродетель простых людей, его мысль, что причина морального разложения общественных институтов — их изношенность, его острое недоверие ко всем формам умствования, к интеллектуалам, специалистам, всем самоизолировавшимся кружкам и фракциям. Они принимали аполитические идеи Сен-Симона, но не его технократический централизм. Они разделяли веру в насилие и конспирацию, проповедуемые Бабефом и его учеником Буонаротти, но не их приверженность авторитаризму. Они противостояли (вместе с Сисмонди, Прудоном, Ламенне и всеми, кто создал идею «государства всеобщего благоденствия»), с одной стороны, эволюционистам (*laissez-faire*), а с другой стороны, центральной власти, будь она националистическая или социалистическая, временная или постоянная, проповедуемая Листом или Мадзини, Лассалем или Марксом. Иногда они близко подходили к позициям западных христианских социалистов, однако без их религиозной веры, так как, подобно французским энциклопедистам прошлого века, верили в «естественную» мораль и научную истину. Такие убеждения их объединили. Но разделяли их не менее глубокие различия.

Первой и самой большой их проблемой было отношение к крестьянам, во имя которых все и делалось. Кто должен указать крестьянам истинный путь к справедливости и равноправию? Индивидуальная свобода, конечно, не осуждалась народниками, но они были склонны относиться к ней как к либеральной фразе, отвлекающей внимание от социальных

и экономических задач. Надо ли создавать воспитателей душ — специалистов по обучению невежественных младших братьев, и если да, нужно ли побуждать крестьян к сопротивлению властям, восстанию и разрушению старого порядка, пока они сами полностью не осознают значение и необходимость подобных действий? В 1840-е годы об этом рассуждали такие непохожие друг на друга люди, как Бакунин и Спешнев; в 50-е это же проповедовал Чернышевский, в 60-е — страстно отстаивали Заичневский и якобинцы «Молодой России»; в 70-е и 80-е этому учил Лавров, а также его оппоненты, приверженцы организованного профессионального терроризма Нечаев, Ткачев и их последователи, которые включали (объединяясь исключительно в этом) не только социалистов, но и самых фанатичных русских марксистов, в частности Ленина и Троцкого.

Некоторые из них задавались вопросом, не приведет ли обучение революционных групп к появлению заносчивой элиты рвущихся к власти людей, которые в лучшем случае считали бы своим предназначением дать крестьянам не в точности то, о чем те просят, а то, что они сами, то есть их самонадеянные наставники, считают для них благом. Они шли дальше и спрашивали, не станет ли, таким образом, племя фанатиков, уделявших мало внимания действительным нуждам большинства населения, агитировать народ за то, что они (орден профессиональных революционеров, оторванный от народной жизни специальным обучением и необходимостью конспирации) для него избрали, не считаясь с его собственными стремлениями и надеждами. Нет ли здесь страшной опасности заменить старое ярмо новым, когда на место аристократии, бюрократии и царя придет деспотическая олигархия интеллектуалов? Есть ли гарантии, что новые хозяева будут меньше угнетать, чем старые?

Об этом спорили некоторые террористы 60-х годов, например Ишутин и Каракозов, и особенно молодые идеалисты 70-х, которые «пошли в народ» не столько учить других, сколько самим учиться жизни, вдохновленные скорее Руссо,

Некрасовым и Толстым, чем более жесткими социальными теоретиками. Эти молодые люди, «раскаявшиеся дворяне», считали, что сами они развращены не только преступной социальной системой, но и самим либеральным образованием, которое способствует углублению неравенства и становится богатейшей почвой для несправедливости и классового угнетения, неизбежно возвышая ученых, писателей, профессоров, специалистов и вообще цивилизованных людей над массами. Все, что затрудняет понимание между индивидуумами, группами или нациями, что создает препоны человеческой солидарности и братству, по определению дурно; специализация и университетское образование воздвигают стены между людьми, мешают общим контактам, убивают любовь и дружбу и в числе прочих причин виновны в том феномене, который Гегель и его последователи называли «отчуждением», царящим на уровне целых классов и культур.

Некоторым народникам удавалось обойти эту проблему. Бакунин, например, который не был народником, но глубоко повлиял на народничество, осуждал веру в интеллигенцию и специалистов, ведущую, возможно, к самой страшной тирании (правлению ученых и педантов), но не касался вопроса о том, должны ли революционеры учить других или учиться сами. Это оставили без ответа и террористы «Народной воли». Более чувствительные и морально добросовестные мыслители, например Чернышевский и Кропоткин, чувствовали важность этой проблемы и не пытались скрыть ее от себя; задаваясь вопросом, по какому праву они предлагают крестьянской массе, выросшей в совершенно другой системе ценностей, ту или иную социальную организацию, которая, на их взгляд, воплотит более глубокие ценности, чем ее собственные, они не могли дать ясного ответа. Вопрос становился еще более острым, когда они спрашивали (в 60-е годы все чаще), что делать, если крестьяне станут сопротивляться планам их революционного освобождения? Нужно ли обманывать массы или, хуже того, принуждать? Никто не возражал против того, что в конце концов править должен имен-

но народ, а не революционная элита, но как далеко можно зайти сейчас, не считаясь с желаниями большинства и принуждая народ стать на путь, который он прямо отвергает?

Это ни в коем случае не было просто академическим вопросом. Первых восторженных приверженцев радикального народничества (миссионеров, которые пошли «в народ» знаменитым летом 1874 года) встретили безразличие, подозрение, обида, а иногда активные ненависть и сопротивление части их потенциальных подопечных, которые снова и снова выдавали их полиции. Народники были вынуждены открыто выражать свои взгляды, так как страстно верили в необходимость оправдать свои действия с помощью разумных доводов. Сперва они не были единодушны. Активисты Ткачев, Нечаев и (не столько в политическом смысле) Писарев, чьи поклонники стали известны как «нигилисты», предвосхитили Ленина в его презрении к демократическим методам. Со времен Платона доказывали, что дух господствует над плотью и знающие должны управлять незнающими; образованные люди не могут слушаться безграмотных и невежественных; народ можно освободить, даже вопреки его неразумным желаниям, хитростью, любыми подходящими средствами, обманом и насилием, если надо. Такие представления и авторитаризм, который они влекли за собой, разделяло лишь меньшинство народников. Большинство же приводило в ужас открытая защита макиавеллиевской тактики; они считали, что любую цель, даже хорошую, обесценят чудовищные средства.

Такой же конфликт возник из-за отношения к государству. Все русские народники сходились на том, что государство олицетворяет систему принуждения и неравенства и, следовательно, в принципе своем дурно; никакое счастье или справедливость невозможны, пока оно не будет уничтожено. Но в то же время какова одна из первых задач революции? Ткачев достаточно ясно говорит, что, пока капиталисты полностью не уничтожены, орудие принуждения (пистолеты, изъятые у них революционерами) ни в коем случае нельзя

отбросить, его нужно обратить против врага. Иными словами, государственную машину надо не разрушить, а направить против неизбежной контрреволюции; она должна работать до тех пор, пока последний враг (по бессмертной фразе Прудона) не будет успешно ликвидирован и человечество, соответственно, не перестанет нуждаться в каком-либо орудии принуждения. В этой доктрине Ленин скорее следовал Ткачеву, чем амбивалентной марксистской формуле о требовании пролетарской диктатуры. Характерно, что Лавров, представляющий центральное крыло народничества, отражая все его колебания и затруднения, отстаивает не полное и не медленное уничтожение государства, но систематическую его редукцию до какого-то неопределенного минимума. Чернышевский, наименьший анархист среди народников, считает, что государство должно организовывать и защищать свободные сообщества крестьян и рабочих, причем умудряется видеть его одновременно централизованным и децентрализованным, гарантирующим не только порядок, действенность и равенство, но и личную свободу.

Все эти мыслители разделяли вполне апокалиптическое предположение: если царство зла (самодержавие, угнетение, неравенство) сгорит в огне революции, из пепла сам по себе поднимется естественный, гармоничный, справедливый порядок, который потребует для своего окончательного совершенствования только мягкого руководства просвещенных революционеров. Эту великую утопическую мечту, основанную на простой вере в перерождение человеческой природы, народники разделяли с Годвином и Бакуниным, Марксом и Лениным. Сутью ее была модель греха, смерти и воскресения — дороги к земному раю, ворота которого откроются только в том случае, если люди обнаружат единственно верный путь к нему и пойдут этим путем. Корни таких представлений лежат глубоко в религиозном сознании человечества, и нет ничего удивительного в том, что эта мирская версия имеет большое сходство с верой русских старообрядцев, для которых со времен великого раскола XVII века Российское

государство и Петр Великий олицетворяли земное царство Сатаны. Эти религиозные изгои дали много потенциальных союзников, которых народники пытались привлечь на свою сторону.

Между народниками существовали глубокие противоречия. Их разделяло отношение к будущей роли интеллигенции по сравнению с ролью крестьянства и к историческому значению поднимающегося класса капиталистов; одни были постепеновцами, другие — сторонниками тайного заговора; одни склонялись к образованию и пропаганде, другие — к терроризму и подготовке немедленного восстания. Все эти вопросы были взаимосвязаны и требовали решения. Но самые глубокие расхождения народников касались безотлагательного вопроса о том, может ли истинно демократическая революция осуществиться до того, как достаточное количество угнетенных станет полностью сознательными, то есть способными понимать и анализировать причины своего невыносимого положения. Умеренные доказывали, что никакую революцию нельзя назвать демократической, если она не исходит из принципов революционного большинства. Но в этом случае, наверное, остается только ждать, пока образование и пропаганда не создадут такого большинства, что и отстаивали почти все западные социалисты-марксисты и немарксисты во второй половине XIX века.

Русские якобинцы на это возражали, что такое ожидание, притом отвергающее все формы борьбы, организованной решительным меньшинством, как безответственный терроризм или, еще хуже, как замена одного деспотизма другим, привело бы к катастрофическим результатам: пока революционеры мешкают, капитализм быстро бы развивался; передышка заставила бы правящий класс развивать социальную и экономическую базу намного интенсивнее; рост процветающего, энергичного капитализма создал бы возможности работать для радикальной интеллигенции — врачи, инженеры, преподаватели, экономисты, техники и специалисты всех типов заняли бы высокооплачиваемые места и должности;

их новые буржуазные хозяева были бы достаточно умны, чтобы не требовать от них, как теперь, политического подчинения; интеллигенция получила бы особые привилегии, статус и широкие возможности для самовыражения (безвредный радикализм и определенная доля свободы личности были бы разрешены), и, таким образом, революционное движение потеряло бы самых ценных участников. Те, чье ненадежное положение и недовольство объединило их с угнетенными, были бы частично удовлетворены, стимул к революционной деятельности ослабел бы, и перспективы радикального преобразования общества оказались бы весьма туманными. Радикальное крыло революционеров яростно доказывало, что развития капитализма, что бы ни говорил Маркс, избежать можно. Где-где, а в России его еще можно остановить революционным переворотом, пресечь в корне до того, как он окрепнет. Если, признав необходимость будить «политическое сознание» рабочих и крестьян (которых к этому времени, частично из-за неудачи интеллигентов в 1848 году, марксисты и большинство народнических лидеров сочли абсолютно готовыми к революционному крещению), мы примем программу постепеновцев, момент для решительных действий будет, конечно, упущен; и не поднимется ли вместо народнической или социалистической революции мощный, гибкий и хищный, преуспевающий капиталистический режим, который сменит российский полуфеодализм так же, как он сменил феодальный порядок в Западной Европе? Кто тогда может сказать, сколько десятилетий или столетий пройдет, пока грянет революция? И когда она все же грянет, кто может сказать, какой порядок она установит, на какую социальную базу она будет опираться?

Все народники соглашались с тем, что идеальный зародыш социалистических групп, на которые должно опираться будущее общество, — это деревенская община. Но не разрушит ли ее автоматически развитие капитализма? Если капитализм уже разрушает деревенский *мир* (хотя об этом, наверное, открыто не говорили до 1880-х годов) и классовая

борьба, как доказал Маркс, разделяет деревню так же, как и город, тогда план действий ясен: вместо того чтобы сидеть сложа руки и спокойно наблюдать разрушение, мы должны решительно остановить этот процесс и спасти деревенскую общину. Социализм, как доказывали якобинцы, можно ввести, захватив власть, и на это надо направить всю энергию революционеров, даже отсрочив обучение крестьян моральным, социальным и политическим реалиям. Ведь такое обучение осуществится быстрее и эффективнее после того, как революция сломит сопротивление старого режима.

Такой образ мысли, чрезвычайно схожий если не с конкретными словами, то с политикой Ленина в 1917 году, существенно отличался от старого марксистского детерминизма. Его постоянный рефрен: нельзя терять времени. В деревне кулаки уничтожают беднейшее крестьянство, в городе становится все больше капиталистов. Если правительство обладает хоть каплей разума, оно пойдет на уступки, проведет реформы и отвлечет образованных людей, чья воля и разум нужны революции, на мирный путь служения реакционному государству; а несправедливый порядок, поддержанный такими либеральными мерами, продолжится и укрепится. Активисты доказывали, что революции не неизбежны, они — плод человеческой воли и человеческого разума. Если воли и разума недостает, революция может вообще не произойти. Только потребность в безопасности вынуждает людей к солидарности и общинной жизни; индивидуализм всегда был роскошью, идеалом социальной элиты. Новый класс технических специалистов (современных, блестящих и энергичных людей), появление которого приветствовали либералы Кавелин и Тургенев, а иногда даже радикальный индивидуалист Писарев, для якобинца Ткачева был «хуже тифа и холеры», так как, применяя научные методы к социальной жизни, они играли на руку новым капиталистическим олигархам и, таким образом, закрывали путь к свободе. Полумеры фатальны, когда только операция может спасти пациента; они продлевают его болезнь и так ослабляют организм, что в конце

концов не спасет даже операция. Нужно поднять восстание до того, как эти новые интеллектуалы, потенциальные конформисты, станут слишком сильны, слишком многочисленны и получают слишком много власти, иначе будет слишком поздно: элита сенсимонистов из высокооплачиваемых чиновников возглавит новый феодальный порядок — экономически эффективное, но аморальное общество, основанное на вечном неравенстве.

Неравенство — величайшее из зол. Когда другие идеалы вступали в конфликт с идеей равенства, русские якобинцы всегда готовы были принести их в жертву или изменить. Первый принцип, на котором покоится справедливость, — равенство; нет справедливого общества без максимальной степени равенства между людьми. Если революция успешно осуществится, нужно побороть и искоренить три основных заблуждения. Первое заблуждение: что прогресс создается только людьми культуры. Это ложь, наихудшее следствие которой — вера в элиту. Второе — противоположная иллюзия, что всему нужно учиться у простых людей. Это тоже ложь; в аркадских крестьянах Руссо слишком много идиллического вымысла. Массы невежественны, грубы, реакционны и не понимают собственных потребностей и выгод. Если революция зависела бы от их зрелости, способности к политическому суждению и организации, она бы, естественно, провалилась. Последнее заблуждение: только пролетарское большинство может успешно осуществить революцию. Без сомнения, пролетарское большинство могло бы это сделать, но если Россия должна ждать, когда это произойдет, возможность свергнуть коррумпированное и ненавистное правительство будет упущена и капитализм почувствует себя крепко в седле.

Что же делать? Нужно подготовить революцию, разрушить существующую систему и все, что препятствует равенству и самоуправлению. Когда это будет достигнуто, нужно созвать демократическое законодательное собрание, и если те, кто совершил революцию, сумеют объяснить ее причины,

то есть социальную и экономическую ситуацию, сделавшую ее необходимой, то массы, хотя сегодня они, возможно, этого не понимают, непременно (по мнению якобинцев) осознают свое положение и охотно позволят организовать себя в новую свободную федерацию производительных ассоциаций.

Но предположим, что народные массы наутро после успешного *coup d'état*¹ все еще недостаточно зрелы, чтобы осознать это? Герцен снова и снова задавал этот нелегкий вопрос в конце 1860-х годов; тревожил он и народников. Активное крыло не сомневалось в ответе: сбросьте цепи с плененного героя — он встанет в полный рост и будет навеки свободен и счастлив. Взгляды этих людей были поразительно просты. Они верили, что терроризм, и только терроризм, поможет достигнуть полной, анархистской свободы. Целью революции для них было установление абсолютного равенства, не только экономического и социального, но «физического и физиологического». Они не видели противоречий между прокрустовым ложем насильственного равенства и абсолютной свободой, считая, что этот порядок нужно ввести силой и властью государства, после чего государство, выполнив свою задачу, быстро «ликвидировало» бы само себя.

Представители основной части народников на это возражали, что средства якобинцев должны соответствовать целям: если цель революции — освобождение, нельзя использовать оружие деспотии, которое может поработить тех, кого они задумали освободить; лекарство не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь. Используя государство, чтобы уничтожить власть эксплуататоров, и навязав специфическую форму жизни людям, большинство из которых недостаточно образованно, чтобы понять, как это необходимо, мы заменим царский гнет на новый, не обязательно менее тяжелый, — гнет революционного меньшинства. Народники большей частью были истинными демократами; они верили, что любая власть склонна портиться, что любая концентрация власти ведет к стремлению властвовать вечно, что

¹ переворот (фр.).

любая централизация — принуждение и зло и, следовательно, единственная надежда на справедливое и свободное общество — в добровольном (разумно доказанном) обращении людей к истинам социально-экономической справедливости и демократической свободы. Может быть, чтобы добиться возможности прививать людям эти взгляды, действительно надо уничтожить существующие препятствия для свободного разумного общения (полицейское государство, власть капиталистов и помещиков) и использовать силу, будь то восстание или индивидуальный террор. Но эти временные меры представлялись им вполне невинными (ведь власть врага уничтожалась) и совершенно отличными от передачи власти в руки какой-либо партии или группы. В течение последних двух столетий именно об этом спорили либертарианцы и федералисты с якобинцами и сторонниками централизации — Вольтер с Гельвецием и Руссо, левое крыло Жиронды с «горой». Герцен использовал эти доводы против коммунистов-доктринеров предшествующего периода, Кабе и его ученика Бабефа. Бакунин осуждал марксистское требование диктатуры пролетариата, считая, что оно просто переведет власть от одних угнетателей к другим. Народники 80-х и 90-х использовали эти доводы в борьбе против всех тех, кого они подозревали в тайном намерении (вольном или невольном) разрушить самобытность личности и свободу, будь то либералы-эволюционисты, которые позволяли владельцам фабрик поработать массы, или радикальные коллективисты, готовые сделать это сами; будь то капиталистические *entrepreneurs* (как писал Михайловский Достоевскому в известном критическом разборе «Бесов») или марксистские защитники централизованной власти. Он считал, что и те и другие намного опаснее патологических фанатиков — грубых, аморальных социальных дарвинистов, глубоко враждебных разнообразию индивидуальных характеров и свободе, — которых Достоевский обличил.

Это был главный политический вопрос, который в поворотный момент столетия отделил русских социалистов-революционеров от социал-демократов и по которому несколько

лет спустя Плеханов и Мартов разошлись с Лениным. Действительно, раскол между большевиками и меньшевиками (что бы ни было его внешней причиной) произошел из-за этого. Сам Ленин, никогда не отходивший от центральной марксистской доктрины, через два или три года после Октябрьской революции бранил бюрократию и деспотический произвол партийных чиновников, хотя именно это предсказывали его оппоненты; Троцкий обвинял Сталина в том же самом преступлении. Дилемма методов и их последствий — самая глубокая и мучительная для революционных движений наших дней на всех континентах мира, не исключая Азии и Африки. То, что она так ясно и четко прозвучала у народников, делает ее исключительно близкой нашим собственным проблемам.

Все эти различия существовали в рамках общего революционного мировоззрения, так как, несмотря на многие разногласия, всех народников объединяла нерушимая вера в революцию. Проистекала она из многих источников. Она исходила из потребностей и взглядов преимущественно доиндустриального общества, жаждущего простоты и братства, из аграрного идеализма, восходящего в конечном счете к Руссо, — реальности, которую можно сегодня увидеть в Индии и Африке и которая непременно кажется утопической социальным историкам, родившимся на индустриальном Западе. Это было следствием разочарования в парламентской демократии и либеральных взглядах, славной веры буржуазных интеллектуалов после поражения европейских революций 1848—1849 годов и специфического вывода, к которому пришел Герцен: Россия, не выстрадавшая эту революцию, возможно, найдет свое спасение в неистребимом естественном социализме крестьянского *мира*. На это глубоко повлияли страстные обличительные речи Бакунина против всех форм централизованной власти и, в частности, государства; его взгляд на человека как существо от природы мирное и созидательное, которое становится агрессивным только тогда, когда извращают его сущность, вынуждая быть

жертвой или палачом. Это питалось и течениями иного направления — верой Ткачева в якобинскую элиту профессиональных революционеров как единственную силу, способную остановить развитие капитализма, который опирается в своем фатальном движении на невинных реформистов-гуманитариев и карьеристов-интеллигентов и скрывается за омерзительным лицемерием парламентской демократии; еще больше это питалось страстным утилитаризмом Писарева и его блестящей полемикой со всеми формами идеализма и дилетантизма — например, сентиментальной идеализацией красоты и простоты крестьянской жизни вообще и жизни русских крестьян в частности, осененной благодатью и удаленной от пагубного влияния загнивающего Запада. Это поддерживалось призывом «критических реалистов» к своим соотечественникам спасаться самодисциплиной и тренировкой ума — новый вид энциклопедизма, пропагандирующий естественные науки, навыки, профессионализм и направленный против гуманитарного знания, классического образования, истории и других форм «сибаритского» самолюбования. Более того, этот «реализм» контрастировал с литературной культурой, которая убаюкивала лучших людей в России в той ситуации, когда коррумпированная бюрократия, тупые и жестокие помещики, мракобесная церковь могли эксплуатировать их или позволять им разлагаться, в то время как эстетсы и либералы думали о своем.

Но самой сутью, самым центром мировоззрения народников был индивидуализм и рационализм Лаврова и Михайловского. Вместе с Герценом они верили, что история не движется predetermined путем, что у нее нет либретто, что ни сильнейшие столкновения между культурами, нациями или классами (в которых гегельянцы видели сущность человеческого прогресса), ни борьбу классов за власть (представленную марксистами как движущая сила истории) нельзя считать неизбежными. Вера в человеческую свободу была краеугольным камнем народнического гуманизма. Они не уставали повторять, что цели выбираются людьми, а не на-

вязываются им свыше и что человеческого стремления достаточно, чтобы построить счастливую, достойную жизнь, в которой примирятся интересы интеллигенции, крестьян, рабочих и людей свободных профессий; конечно, они не полностью совпадут, это недостижимый идеал, но приведут в живое равновесие, которое, находясь под постоянным контролем разума, может быть отрегулировано почти всегда, когда возникнут непредсказуемые последствия человеческих взаимодействий друг с другом и с природой. Возможно, свое влияние оказали и традиции православной церкви с ее примиренческими и общинными принципами, ее неприятием авторитарной католической иерархии и индивидуализма протестантов. Все эти доктрины, их пророки и их западные учителя (французские радикалы до и после Французской революции, Фихте и Наполеон, Фурье и Гегель, Милль и Прудон, Оуэн и Маркс) сыграли, конечно, свою роль. Но самая крупная фигура в народническом движении, человек, чей темперамент, идеи и деятельность от начала и до конца доминировали в нем, несомненно — Николай Гаврилович Чернышевский. Влияние его жизни и учения, несмотря на множество существующих монографий, еще ждет своего исследователя.

Чернышевский не был новатором. Он не обладал глубиной, воображением, блестящим интеллектом и литературным талантом Герцена; красноречием, смелостью, темпераментом, интеллектуальной силой Бакунина; моральной честностью и уникальной социальной интуицией Белинского. Но он был человеком нерушимой цельности, огромного трудолюбия и редкой среди русских способности сосредотачиваться на конкретных деталях. Его глубокая, твердая, вечная ненависть к рабству, несправедливости и неразумию не выразилась в больших теоретических обобщениях, создании социологической или метафизической системы или насильственных действиях против властей. Она приняла форму неторопливого, спокойного, терпеливого собирания идей и фактов — неизящного и скучного, но мощного сооружения, в котором можно найти детальную стратегию практических

действий, соответствующих специфике русской среды, которую он хотел изменить. Чернышевский очень хорошо относился к конкретным, старательно разработанным, хотя и ошибочным, социалистическим планам группы Петрашевского (к которой принадлежал Достоевский), уничтоженной правительством в 1849 году, а потом — к фантастическим построениям Герцена, Бакунина и их последователей.

Новое поколение выросло в годы реакции, наступившей после 1849 года. Эти молодые люди видели сомнения и предательства части либералов, приведшие к победе реакционных партий. Через двенадцать лет они наблюдали то же самое в собственной стране, когда освобождение крестьян в России оказалось циничной пародией на их планы и надежды. Такие люди оценили трудолюбивый гений Чернышевского — его попытки найти специфическое решение специфических проблем с точки зрения конкретных статистических данных, его постоянное обращение к фактам, его терпеливые усилия наметить достижимые, практические, непосредственные цели, а не те, к которым нет реального пути, его плоский, сухой, прозаический стиль, его монотонность и недостаток вдохновения были серьезнее и в конечном счете вдохновляли больше, чем благородные мечты романтических идеалистов 1840-х. Относительно низкое социальное происхождение (он был сыном приходского священника) давало ему естественную близость к простому народу, положение которого он анализировал, и постоянное недоверие, позже обернувшееся фанатической ненавистью ко всем либеральным теоретикам. Эти качества сделали Чернышевского естественным лидером разочарованного поколения, куда входили разные по рождению люди; поколения, озлобленного крушением их собственных ранних идеалов, правительственными репрессиями, унижением России в Крымской войне, слабостью, бессердечием, лицемерием и некомпетентностью правящего класса. Для этих грубоватых, социально неблагополучных, сердитых, подозрительных молодых людей Чернышевский был отцом и духовником, каким не мог

бы никогда стать ни аристократичный, ироничный Герцен, ни своенравный и, в сущности, легкомысленный Бакунин.

Как все народники, Чернышевский верил, что необходимо сохранить крестьянскую общину и распространить ее принципы на промышленное производство. Он верил, что прямая выгода для России — перенять научные достижения Запада, не проходя сквозь агонию промышленной революции. «Человеческое развитие есть форма хронологической несправедливости, — подметил однажды Герцен, — так как потомки пользуются трудом своих предшественников, ничего не платя им за это». «История любит своих внуков, — повторил за ним Чернышевский, — потому что она предлагает им мозг тех косточек, раскалывая которые поранило руки предыдущее поколение». Для Чернышевского история двигалась по спирали, по гегелевским триадам, поэтому каждое поколение повторяло опыт не отцов, а дедов, и «на более высоком уровне».

Но не этот историософский элемент очаровал народников. Более всего на них повлияло его острое недоверие к реформам сверху, его вера в то, что сущность истории — борьба классов, и в особенности его убеждение (которое исходит, как вы знаете, от Маркса, но опирается на социалистические источники, общие для них обоих), что государство — это орудие правящих классов, а потому не может, сознательно или бессознательно, провести те необходимые реформы, успех которых мог бы положить конец их правлению. Ни один строй не хочет своей собственной смерти. Поэтому все попытки переделать царя, все попытки избежать ужасов революции непременно останутся тщетными (писал он в начале 60-х). В конце 50-х был момент, когда он, как Герцен, надеялся на реформы сверху. Конечная форма освобождения крестьян и уступки, которые сделало правительство помещикам, избавили его от этой иллюзии. Он указывал, со значительной долей исторической правоты, что либералы, надеявшиеся повлиять на правительство тактикой Фабиана

Кунктатора, предали и крестьян, и самих себя. Сначала они скомпрометировали себя в глазах крестьян отношениями с их хозяевами, а потом уже правящему классу, когда это было ему удобно, ничего не стоило представлять их ложными друзьями крестьян и позже отвернуться от них. Это же происходило во Франции и Германии в 1849 году. Даже если бы умеренные вовремя одумались и потребовали насильственных мер, незнание ситуации и слепота к насущным потребностям рабочих и крестьян вынудили бы их отстаивать утопические проекты, которые в конечном счете дорого стоили бы их последователям.

Чернышевский развивал простую форму исторического материализма, в соответствии с которой политические факторы определяются социальными, а не наоборот. Тем самым он считал (как Фурье и Прудон), что либеральные и парламентаристские представления просто обходят главные вопросы — потребность крестьян и рабочих в пище, жилье и одежде; что же касается либеральной конституции, права голосовать и гарантий личной свободы — это мало что значит для голодных, полураздетых людей. Социальная революция должна идти первой; за ней последуют соответствующие политические реформы. Для Чернышевского принципиальным уроком 1848 года было то, что западные либералы, смелые и малодушные одновременно, продемонстрировали свое политическое и моральное банкротство (это же относится к их русским ученикам — Герцену, Кавелину, Грановскому и остальным). Россия должна идти своим собственным путем. В отличие от славянофилов и подобно русским марксистам следующего поколения, Чернышевский считал, что историческое развитие России, в особенности — крестьянский *мир* ни в каком отношении не уникальны, а подчиняются тем же социальным и экономическим законам, что и все человеческое общество. Как марксисты (и позитивисты-континанцы), он верил, что такие законы можно открыть и установить; но, в отличие от марксистов, он был убежден, что, переняв западные технологии и воспитав лю-

дей железной воли и рационалистических взглядов, Россия может «проскочить» капиталистическую стадию развития, превратив крестьянские общины и свободные кооперации ремесленников в сельскохозяйственные и промышленные ассоциации производителей, которые станут зародышем нового, социалистического общества. Технический прогресс, по его мнению, не разрушит автоматически крестьянскую общину: «дикарей можно научить пользоваться латинским шрифтом и безопасными спичками»; фабрики можно создать на базе рабочих артелей, не разрушив их; высокоорганизованное производство может уничтожить эксплуатацию и в то же время сохранить сельскохозяйственную природу российской экономики².

Чернышевский верил в решающую историческую роль внедрения науки в жизнь, но, в отличие от Писарева, не считал, что индивидуальное предпринимательство или тем более капитализм связаны с этим процессом. Он был верен своему увлечению фурьеризмом и рассматривал свободные ассоциации крестьянских общин и ремесленных артелей как основу свободы и прогресса. Но в то же самое время он был убежден, как сенсимонисты, что вряд ли можно достичь государственного социализма без коллективных действий. Эти две веры никогда не примирились; в работах его есть доводы и за, и против высокоразвитой индустрии. Он неоднозначно относится к тому, должно ли государство поощрять и контролировать промышленность и должен ли демократи-

² В «*Il populismo russo*», переведенном на английский как «*Roots of Revolution*» (Лондон, 1960), Франко Вентури очень кстати приводит статистику народников, которая кажется вполне правдоподобной. В соответствии с ней пропорция крестьян и помещиков составляла 341:1, земля, которой владели крестьяне и их хозяева, находилась в отношении 1:112, а их доходы – 2.5:97.5; в промышленности пропорция городских рабочих к крестьянам была 1:100. Имея эти цифры, Маркс, наверное, уточнил бы, что его прогноз касается западной экономики и вовсе не обязательно относится к России, даже если его русские ученики не считаются с этим, настаивая на том, что капитализм делает большие успехи в России и скоро уничтожит различия, которые отделяют его от Запада. Эту теорию развивал Плеханов (который упорно отрицал, что Чернышевский был народником); в соответствии с ней действовал и Ленин.

чески избранный парламент быть независимым от государства, если оно осуществляет централизованное экономическое планирование и контроль.

Контуры социальной программы Чернышевского оставались неясными или противоречивыми, а иногда — и то и другое вместе. Его очень конкретная и основанная на реальном опыте программа прямо обращалась к представителям народных масс, наконец-то нашедших в нем своего оратора, толкователя своих чувств и потребностей. Самые глубокие эмоции и стремления Чернышевского вылились в роман «Что делать?» — гротескную социальную утопию, сыгравшую поистине эпохальную роль в русском сознании. Этот дидактический роман описывал «новых людей» свободного, морально чистого, кооперативного социалистического общества; его трогательная искренность и нравственный пыл покоряли воображение идеалистичных, кающихся молодых людей из буржуазных семей и снабжали их идеальной моделью, в лучах которой выросло и окрепло целое поколение революционеров, готовых к открытому неповиновению существующим условностям и законам, к величественно равнодушному приятию ссылки и смерти.

Чернышевский проповедовал наивный утилитаризм. Как Джеймс Милль и, возможно, Бентам, он считал, что в основе человеческой природы лежит фиксированная, физиологическая, поддающаяся анализу система естественных процессов и склонностей и, следовательно, увеличение человеческого счастья можно спланировать и осуществить. Решив, что художественная литература и критика — единственное доступное средство для пропаганды радикальных идей в России, он под видом литературы, насколько это было возможно, наполнил «Современник» (журнал, который он редактировал вместе с Некрасовым) прямыми иллюстрациями социалистической доктрины. Тут ему помогал молодой критик Добролюбов (в отличие от самого Чернышевского, литературно одаренный), который порою шел еще дальше в своем страстном желании учить и проповедовать. Эстетиче-

ские взгляды обоих фанатиков были сутобо практическими. Чернышевский полагал, что функция искусства — помочь человеку более разумно удовлетворять свои потребности, распространять знания, бороться с невежеством, предрассудками, антиобщественными страстями, улучшать жизнь в самом узком и буквальном смысле этих слов. Приходя к абсурдным выводам, он радостно принимал их. К примеру, он объяснял, что главная ценность морских пейзажей в том, что они показывают море тем, кто живет далеко от него, скажем, жителям Центральной России; что его друг и покровитель Некрасов — величайший русский поэт потому, что его стихи пробуждают больше симпатии к угнетенным, чем стихи всех других поэтов, живых и умерших. Его ранние соратники, такие цивилизованные и утонченные писатели, как Тургенев и Боткин, находили его мрачный фанатизм все более невыносимым. Тургенев не смог ужиться с этим ненавидящим искусство догматичным школьным учителем. Толстой презирал его занудный провинциализм, полное отсутствие эстетического чувства, его нетерпимость, рационализм, его бешеную самоуверенность. Но эти же самые качества, или, точнее, мировоззрение, которое они характеризовали, помогли ему стать действительным вождем «суровых» молодых людей, пришедших на смену идеалистам 1840-х годов. Шероховатые, плоские, лишенные юмора, монотонные, режущие слух сентенции Чернышевского, его озабоченность конкретными деталями, его самодисциплина, его самоотверженное служение материальному и моральному благу своих друзей, его самоуничтожение, его неустанное, страстное, увязающее в мелочах трудолюбие, ненависть к стилю и любым условностям этикета, безоговорочная искренность, полное невнимание к себе, грубая прямота, безразличие к притязаниям личной жизни, простодушие, доброта, педантичность, обезоруживающее моральное обаяние, способность к самопожертвованию создали образ, ставший позже прототипом русского революционного героя и мученика. Больше, чем какой-либо другой публицист, он несет ответственность за оконча-

тельное разделение на «них» и на «нас». Всю свою жизнь он учил, что компромисса с «ними» быть не должно, что война должна вестись на всех фронтах и до победного конца; что не может быть нейтральной позиции; что, пока война ведется, никакое дело не должно казаться революционеру слишком тривиальным, отталкивающим или утомительным. Его личность и мировоззрение наложили свой отпечаток на два поколения русских революционеров; и не в последнюю очередь на Ленина, который искренне им восхищался.

Несмотря на экономические и социологические акценты, основной тон Чернышевского и вообще народников был нравственным, а то и религиозным. Эти люди верили в социализм не потому, что он неизбежен или эффективен, и даже не потому, что он единственно разумен, а оттого, что он справедлив. Концентрация политической власти, капитализм, централизованное государство попирали права человека, калечили его нравственно и духовно. Народники были убежденными атеистами, но в их сознании социализм и христианские ценности уживались. Их отталкивала перспектива индустриализации в России непомерностью своей цены, и они не любили Запад за то, что тот безжалостно эту цену заплатил. Их ученики, экономисты-народники 1880-х и 1890-х годов, например Даниэльсон и Воронцов, при всей строгости экономических аргументов о возможности капитализма в России (некоторые из которых даже убедительнее, чем у их марксистских оппонентов), в последних работах отвернулись от него из нравственных соображений (очень уж много страданий он непременно принес бы), отказываясь, так сказать, платить эту страшную цену независимо от ценности результатов. Социалисты-революционеры (их преемники в XX столетии) озвучили идею, которая проходит через всю народническую традицию в России: цель социального действия — не сила государства, а благосостояние народа; обогатить государство, обеспечить его военную и индустриальную мощь, разрушив при этом здоровье, нравственность и общий культурный уровень его граждан, возможно, но безнравственно. Они

сравнивали прогресс в Соединенных Штатах, где первостепенно, по их словам, личное благосостояние, с прогрессом в Пруссии, где это не так; и приходили к выводу (который восходит, по крайней мере, к Сисмонди), что духовное и физическое состояние отдельного гражданина значит больше, чем мощь государства; если же, как часто случается, эти две категории противоречат друг другу, предпочтение надо отдать правам и благосостоянию личности. Они считали исторически неверным мнение, что только сильное государство может вырастить хороших и счастливых граждан, и морально неприемлемым, что, растворяясь в жизни общества, личность в высшей форме осуществляет себя.

Вера в первенство прав человека — основной принцип, который отделяет плюралистические общества от централизованных, государства благосостояния, смешанной экономики и политики «нового курса» — от однопартийных правительств, «закрытых» обществ «пятилетками» и вообще форм жизни, построенных на служении одной цели, превосходящей цели всех других разнообразных групп или людей. Чернышевский был фанатичнее, чем большинство его последователей 1870-х и 1880-х годов, и значительно больше верил в организацию, но он не затыкал уши, слыша со всех сторон просьбы о немедленной помощи, и не считал, что даже в интересах самой святой и великой цели непременно нужно подавлять желание личности сохранить себя. Иногда он проявлял узость, ему не хватало воображения, но он никогда не был равнодушным, высокомерным или бесчеловечным и постоянно напоминал своим читателям и себе, что в своем стремлении помочь «наставники» не должны обманывать народ. Крестьяне, возможно, не хотят того, что «мы», интеллектуалы, считаем для них благом, и нельзя совать «им» в глотку «наше» лекарство. Ни он, ни Лавров, ни даже самые безжалостные якобинцы, приверженцы террора и насилия, никогда не прикрывались предопределенностью хода истории, чтобы оправдать то, что было бы явно несправедливым и жестоким. Если насилие — единственное средство достиг-

нуть цели, значит, могут быть обстоятельства, при которых разумно к нему прибегнуть; но в каждом случае это должно было быть оправдано моральной высотой цели (которая перевешивала бы порочность средств — счастьем, солидарностью, справедливостью, миром и другими универсальными человеческими ценностями), а не рациональными требованиями и необходимостью шагать в ногу с историей, отбросив сомнения и «субъективные» нравственные принципы, которые будто бы условны, поскольку история преобразила все моральные системы и оправдала только те принципы, которые успешно выжили.

Настроение народников, особенно в 1870-е годы, справедливо можно назвать религиозным. Эта группа конспираторов и пропагандистов казалась себе и другим учредителями предписанного порядка. Чтобы в нее входить, нужно было прежде всего принести всю свою жизнь в жертву народническому движению и вообще делу революции. Но представление о диктатуре партии и ее лидеров не было частью этой доктрины и, собственно, противоречило ее общему духу. Поступки человека поверяла только его совесть. Если кто-то обещал подчиняться лидерам партии, такая присяга была тайной, да и распространялась она на специфически революционные цели, не дальше, и заканчивалась, в крайнем случае, с приходом революции, как только партия достигала своего. После революции каждый был свободен действовать в соответствии со своим образом мысли, поскольку дисциплина была временной мерой, а не целью. Народники действительно изобрели концепцию партии как группы профессиональных конспираторов, у которых нет личной жизни и все подчинено общей дисциплине, ядра «железных» революционеров, к которым примыкают сочувствующие и «перекати-поле»; но это исходило из особой ситуации, которая существовала в царской России, из необходимости и особенностей успешной конспирации, а отнюдь не из веры в иерархию как желательную или даже допустимую форму жизни. Конспираторы не оправдывали своих действий, апеллируя к всеоб-

щим историческим процессам, определяющим их поступки, так как они верили в свободу человеческого выбора, а не в предопределенность. Позднейшая ленинская концепция революционной партии и ее диктатуры, многим обязанная этим добровольным мученикам, исходила из совершенно других принципов. Молодые люди, которые ринулись в деревню знаменитым летом 1874 года, чтобы встретить там непонимание, подозрение и даже открытую враждебность, очень удивились бы и возмутились, если бы им сказали, что они должны воспринимать себя как священное орудие истории и потому судить их должно по другому моральному кодексу, чем всех остальных людей.

Народническое движение было неудачей. «Социализм отскакивал от народа, как горох от стены», — писал известный террорист Кравчинский своей соратнице революционерке Вере Засулич в 1876 году, через два года после того, как первая волна энтузиазма спала. «Они слушают наших людей, как священника» — с уважением, без понимания, без всякого эффекта.

В столице шум, гремят витии,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А там, во глубине России,
Что там? Бог знает... Не поймешь!

Эти строки Некрасова передают растерянность и уныние, которые последовали за провалом отдельных попыток, принятых идеалистами, мирными пропагандистами и единичными террористами в конце 60-х — начале 70-х, именно этих террористов с такой силой изобразил Достоевский в романе «Бесы». Правительство ловило их, ссылало, сажало в тюрьму, но их упорное нежелание поддерживать какие-либо меры, которые смягчили бы последствия дикой земельной реформы, обратило к ним сочувствие либералов. Они ощутили, что общественное мнение на их стороне, и окончательно склонились к организованному терроризму. Правда, их цели всегда оставались достаточно умеренными. Открытое

письмо, с которым они обратились к новому императору в 1881 году, по тону было мягким и либеральным. «Террор, — много лет спустя сказала известная революционерка Вера Фигнер, — должен был создать возможности для развития человеческих способностей, которые бы послужили обществу». Общество, которому насилие прокладывало путь, должно было стать миролюбивым, терпимым, децентрализованным и гуманным. Принципиальным врагом все еще было государство.

Волна терроризма достигла своего пика в 1881 году, когда был убит Александр II. Желанная революция не разразилась. Революционные организации были уничтожены, и новый царь избрал политику жесточайших репрессий. В целом его поддерживало общественное мнение, ужаснувшееся убийству императора, который к тому же освободил крестьян и, как говорили, обдумывал другие либеральные реформы. Самых видных лидеров движения казнили или сослали; менее значительные бежали за границу, а Плеханов и Аксельрод, наиболее талантливые из тех, кто остался на свободе, постепенно сдвинулись в сторону марксизма. Их приводила в замешательство собственная оговорка Маркса, что Россия в принципе может избежать капиталистической стадии развития даже без помощи мировой коммунистической революции (Энгельс признавал это значительно неохотнее и с оговорками). По их мнению, Россия фактически уже вступила в стадию капитализма, а поскольку в России, как в свое время на Западе, развитие капитализма неизбежно, нет смысла отворачиваться от «железной» логики истории. Поэтому социалисты не должны сопротивляться индустриализации, а должны поощрять ее, извлекая пользу из того, что она, и только она, может воспитать армию революционеров, которая способна свергнуть капитализм, — армию растущего городского пролетариата, организованную и дисциплинированную самими условиями своего труда.

Беглый взгляд на индустриальное развитие России в 1890-е годы вроде бы подтверждал марксистский тезис. Этот

тезис привлекал революционную интеллигенцию по многим причинам: он претендовал на научный анализ законов истории, которые не обойти никакому обществу; он мог доказать, что, хотя на свете много насилия, страданий и несправедливости, историческая конструкция неумолимо обнаруживает себя и все-таки будет иметь счастливый конец. Те, кто чувствовал себя виновным, принимая эксплуатацию и бедность или, во всяком случае, не делая активных (т.е. насильственных) шагов, чтобы смягчить или предотвратить их, как требовала политика народников, успокаивали совесть «научной» гарантией того, что дорога, хотя и покрытая трупами невинных жертв, непременно приведет к воротам земного рая. В соответствии с этой точкой зрения экспроприаторы превращаются в экспроприированных просто по логике развития, хотя исторический путь можно сократить и облегчить утрызения совести сознанием, что ты принадлежишь к организации, а уж тем паче — что ты все больше знаешь о рабочих и их лидерах. Это особенно привлекало тех, кто, не желая продолжать бесполезный терроризм, который просто вел в Сибирь или на эшафот, теперь нашел теоретическое оправдание для мирных занятий и духовной жизни, значительно более близкой интеллектуалам, чем бросание бомб.

Героизм, бескорыстность, личное благородство народников часто отмечалось их марксистскими оппонентами. Их считали достойными предшественниками истинно революционной партии, а Чернышевский иногда получал даже более высокий статус и наделялся интуицией гения — эмпирической и ненаучной, но инстинктивно верной, обнаруживающей истины, которые могли доказать только Маркс и Энгельс, вооруженные научным инструментарием, а его и у Чернышевского, и у других русских мыслителей того времени еще не было. Маркс и Энгельс были очень снисходительны к русским: их хвалили за результаты, поистине поразительные, если учесть непрофессионализм, удаленность от Запада и доморощенные средства. Только русские из всей Европы к 1880 году создали в своей стране подлинно революционную

ситуацию; тем не менее Каутский, в частности, разъяснял, что нет замены профессиональным методам и использованию новых технологий, которые предполагает научный социализм. Народничество было списано; его признали смесью неорганизованного морального возмущения и утопических идей в сумбурном разуме крестьян-самоучек, благонамеренных университетских интеллектуалов и вообще тех, кто пал жертвой социальных бед переходного периода между концом отживающего феодализма и началом новой, капиталистической фазы в отсталой стране. Марксистские историки до сих пор склонны описывать его как движение, совмещающее неверную интерпретацию экономических фактов и социальной реальности, как благородный, но бесполезный индивидуальный терроризм и стихийные, неуправляемые крестьянские мятежи — необходимое, но жалкое начало реальной революционной деятельности, прелюдию к настоящей пьесе, шествие наивных идей и разочарований, сметенное новой революционной диалектической наукой, которую провозгласили Плеханов и Ленин.

Каковы были цели народничества? Серьезно спорили о средствах и методах, о выборе времени, но не о конечных целях. Анархизм, равенство, полноценная жизнь для всех — это признавали все. Пестрое разнообразие революционных типов, которые так хорошо и любовно описывает в своей книге Франко Вентури (якобинцы и умеренные, террористы и учителя, лавровцы и бакунинцы, «отшельники», «непокорные», «деревенщики», члены «Земли и воли» и народовольцы), — все движение как будто всецело поглощено одним мифом: что, как только монстр будет сражен, спящая царевна (русское крестьянство) очнется и без всяких дальнейших осложнений заживет долго и счастливо.

Именно об этом движении Франко Вентури написал очень полную, ясную историю, подробнейший из созданных на каком-либо языке отчет об определенной стадии русского революционного движения. Если движение не победило, если оно основывалось на ложных посылах и его легко пресекла

царская полиция, стоит ли описывать жизнь и смерть партии, ее дел и идей, или все это имеет лишь исторический интерес? На этот вопрос Вентури осмотрительно, как подобает объективному историку, не дает прямого ответа. Он рассказывает историю в хронологической последовательности; объясняет, что было; описывает причины и следствия; освещает отношения различных групп народников друг с другом, а нравственные и политические суждения оставляет для других. Его работа — не апология народничества или его оппонентов. Он не осуждает и не хвалит, а только старается понять. Успешное решение этой задачи уже не нуждается в дальнейших похвалах. Возможно, кто-то еще задумается, нужно ли было так легко списывать народничество, как сделали и коммунистические, и буржуазные историки. Так ли безнадежно ошибались народники? Полностью ли заблуждались Чернышевский и Лавров — и Маркс, который их слушал?

Был ли капитализм действительно неизбежен в России? Последствия растущей индустриализации, предсказанные народниками-экономистами в 1880 году (столько же социальных и экономических страданий, как во времена промышленной революции на Западе), стали очевидными до Октябрьской революции и в особенности после нее. Можно ли было их избежать? Некоторые историки считают такой вопрос абсурдным. Что случилось, то случилось. Если мы не отрицаем причинно-следственную связь в человеческих делах, мы должны считать, что то, что произошло, могло произойти только так и не иначе; спрашивать же, что могло бы произойти, если бы ситуация была другой, — пустая игра воображения, недостойная серьезных историков. И все же этот академический вопрос не лишен актуальности. Многие страны, например Турция, Индия, некоторые государства Ближнего Востока и Латинской Америки, пошли по пути замедленной индустриализации, чтобы уменьшить вероятность мгновенного разорения отсталых областей до того, как их можно будет реконструировать, то есть сознательно предпочли этот путь форсированному маршу коллективизации, к которому

в наши дни прибегли русские, а за ними китайцы. Ставят ли эти немарксистские правительства свои страны на путь, ведущий к неотвратимой гибели? Ведь они продолжают именно народнические идеи, во многом составляющие основу социалистической экономической политики.

Когда Ленин в 1917 году осуществил большевистскую революцию, избранная им техника, по крайней мере *prima facie*, напоминала ту, которую рекомендовали русские якобинцы, Ткачев и его последователи (переняв ее у Бланки и Буонарроти). Именно она чаще других обнаруживается у Маркса и Энгельса, во всяком случае — после 1851 года. Капитализм, свергнутый в России в 1917 году, в конце концов, не был зрелым. Он возрастал, еще не придя к власти, он боролся с оковами, надетыми на него монархией и бюрократией, как было и во Франции XVIII века. Но Ленин действовал так, как будто капиталисты уже у власти. Он поступал и говорил, словно это так, но революция победила не столько благодаря тому, что большевики взяли финансовые и промышленные центры, сколько благодаря тому, что они захватили политическую власть решительными и обученными группами профессиональных революционеров, точно так, как учил Ткачев. Если бы русский капитализм достиг той стадии, которой, в соответствии с марксистской исторической теорией, он должен был бы достичь, чтобы пролетарская революция была успешной, захват власти таким незначительным меньшинством, или просто путч, не смог бы *ex hypothesi* продержаться так долго. Именно это снова и снова повторял Плеханов, резко осуждая Ленина в 1917 году и не принимая его довода, что многое может быть позволено в отсталой стране, если только результаты в должное время поддержат ортодоксальные марксистские революции, успешно проведенные в индустриально развитых странах Запада.

Этого не произошло; ленинская гипотеза оказалась исторически несостоятельной; и все же большевистская революция парализована не была. Может быть, марксистская историческая теория ошибочна? Или меньшевики неверно ее

поняли и скрыли сами от себя заложенные в ней антидемократические тенденции? В каком случае их выпады против Михайловского и его друзей полностью справедливы? К 1917 году на этом же был основан их собственный страх перед большевистской диктатурой. Более того, результаты Октябрьской революции оказались странно схожими с тем, что предсказывали оппоненты Ткачева как неминуемое следствие его методов: появилась элита, обладающая диктаторской властью, теоретически созданной для того, чтобы исчезнуть, когда исчезнет в ней необходимость, но, как снова и снова повторяли народники-демократы, на практике становящейся агрессивнее и сильнее и стремящейся властвовать вечно, этому диктатура сопротивляться не могла.

Народники были убеждены, что смерть крестьянской общины будет означать смерть или, во всяком случае, серьезное препятствие для свободы и равенства в России; левые социалисты-революционеры, бывшие их прямыми потомками, преобразили это в требование децентрализованного, демократического самоуправления крестьян, которое принял Ленин, когда пошел на альянс с ними в 1917 году. В определенный момент большевики отвергли эту программу и превратили ячейки обученных революционеров (возможно, самый самобытный дар народников революционной практики) в иерархическую централизованную политическую власть, которую народники твердо и горячо осуждали, пока их самих в конце концов не объявили вне закона и не истребили.

Практика коммунистического движения, как всегда с готовностью отмечал Ленин, многим обязана движению народников. Она заимствовала технику своих противников и с заметным успехом применила ее именно к тому, чему они так сопротивлялись.